

**Евгений Понтюхов**

*Орловская область,  
с. Знаменское*



# НЕТОРОПЛИВЫЙ

рассказ

Сане было десять лет. Вечером он приехал с дедом в лес. Пели птицы, шелестела листва. Заходило солнце, и за деревьями ложились длинные подвижные тени. На поляне, у копен, дед выпряг коня, привязал на вожжи. Отпустил пастись. Взял вилы и подал в фуру охапку лесного душистого сена.

— Топчи!

Выкладывал дед воз не спеша, как пересаживал яблоню, или как тесал бревно, отбив черным, щедро наугленным шнуром прямейшую линию, или как ставил над огородом скворечник, радуясь талому сверкающему марту, разговаривающим вслух деревенским ручьям.

Незаметно Саня оказался высоко, стало интересно смотреть вниз. В ветвистом раkitнике, как за пазухой, спрятала свое гнездо малиновка, из-под крыла ели выглядывал боровик. Стайкой плотвы, играющей на течении, показалась тень листвы, и вдруг там, в тени орехового куста, Саня увидел змею. Она ползла по

1 утонувшей в глубоком мху, дуплистой замше-лой колоде.

— Змея! Бей её! — вскричал Саня.

— Не кричи. Коня испугаешь, — строго взглянул на него дед. Коренастенький, усатый, в рубашке навыпуск, в кирзовых сапогах, он ходил вокруг воза, прихорашивая его, убирая с боков повисшие клоки сена.

Саня остался недоволен дедом. Ему хотелось, чтобы дед разбил копьевидную головку с тонкой, как волосок, рогатинкой жала и по мальчишескому обычаю повесил змею на сук.

— Безобидная тварь и полезная, — равнодушно ответил дед. — Не наступишь ногой, никогда не укусит. Защищаться же в жизни надо каждому...

Дед запряг коня, вывел груженный воз на дорожку. Сказал внуку: «Держись». Отстал и пошёл сзади.

Дед шёл и как будто на ходу засыпал. Но если впереди была рытвина или ухаб, то проворно забегал вперёд и, следя за возом, проводил его через опасное место.

Таким дед был всегда. Саня любил этого медлительного старика за его мимоходную, но искреннюю заботу. Санины родители погибли в войну. Он вырос в доме деда, с малых лет привязался к нему. Помогая в сельском труде, взрослея, Саня всё больше убеждался, что его дед Каллистрат Истратов на редкость смелый, быстрый и смекалистый человек.

Не торопясь, не приглашая никого в помощники, убирал дед с погорелищ прочно угнездившиеся в земле, похожие на осьминогов корневища порушенных войной засыхающих берёз и вязов. Подрубал, подкапывал, обкладывал их со всех сторон поленьями, проявляя изобретательность, выдержку и настойчивость, — и вот уже, пожалуйста, «осьминог» восседал на самом верху поленицы. И звал дед Саню скорее всего не для того, чтобы помог, а вникал он в суть придумки. Еловой вагой старый и молодой сворачивали «осьминога» в сторону, определяя на твёрдую почву, радовались, что сладили с такой штуковиной шутя, не тратя лишних сил.

Умению корчевать учились у деда многие. И не только этому, но и всякому другому, что называлось в деревне с почтением «работать с умом», что вынес из полымя войны Санин дед, сапёр-солдат.

И, конечно, в селе до сих пор помнили, как спас дед Саню и его друзей-одноклассников... В те послевоенные годы мальчишкам не давал покоя «металлоломный зуд». Металлолом принимали в ларьке, в обмен выдавали фонарики и батарейки к ним. Фонарик желал иметь каждый мальчишка. С фонариком было интересно ходить в темноте по разрезанной дороге, по улицам села или пробираться под клубным полом на киносеанс, если не было рубля на билет, или когда на афише предупреждалось, что «дети до шестнадцати лет не допускаются». Киносеансы были событием. В «кино» даже шли женщины, у которых не было денег на просмотр фильма. Они приносили из дома скамейки и, став на них, смотрели фильм через «проталину» между занавеской и рамой, которую для них проделывала подруга, прошедшая в клуб. Малышами командовали переростки. Ножка скамьи зацеплялась багром, и все дружно тянули, женщины падали со скамьи. Смеялись, грозились догнать проказников.

Переростки с помощью луча фонарика научились ночами ловить рыбу на мелководьях. Найдя её, били острогами, рыбу уносили домой или продавали; на деньги, полученные от продажи, покупали тёплый хлеб и конфеты-подушечки. Наедались досыта сами и угощали малышней-помощников. Одним словом, фонарики были богатством. В деревне были собраны и сданы в ларёк все железяки. Мальчишки высматривали лом во всех дворах. Бабы даже каски-горшочницы старались держать в недосыгаемости, в сенцах, за дверью. И пацаны ринулись в леса...

2

Проходил март. Морозными утрами в ольшанике, в русле еще не разлившегося ручья оставалась прочная ледяная корка. По ней Саня и его двое друзей взяли привезти бомбу. В один из быстро теплеющих дней, выбиваясь из сил, они наконец-то притащили её на санях к дедову дому. Саня побежал за дедом, ожидая похвалы. «Дедушка, смотри, какой боровок! Гришка говорит, что в нём 250 кг», — объявил он подошедшему деду.

«Ложись!» — невнятно прошептал дед, бледнея выбритым лицом, прислушиваясь. И мальчишки попадали на землю. Дед схватил санки за верёвку и с грузом потащил их в ручей. Отбежав назад, он плашмя упал на землю. Стало тихо, только слышно было, как в груди стучало сердце. И вдруг так грохнуло, что в домах соседей и в дедовом вылетели из рам стекла.

Посмотреть на дымящуюся воронку прибежали второклассники, занимающиеся во вторую смену. «Как вздрогнула школа! Как засыпало чистописание! Учитель распустил всех по домам», — радуясь, рассказывали они.

Бежали к воронке и матери Саниных друзей. Ещё не зная, кто виновник взрыва, хватали, причитая, в руки все, что попадалось на пути, чтобы наказать своих вездесущих сыновей.

— Потревожили бомбу, разбудили механизм. Позвали бы меня, разрядил бы без шума. Было бы вам впрок и фонариков, и батареек. А так наделали переполох на всю округу, — говорил дед, шевеля посиневшими губами, и грозный вид не покидал его лица.

— Ты бы своего угостил берёзовой кашей. А его друзьям, точно знаю, достанется от матерей по хребту, — ходила вокруг дома не пришедшая в себя бабушка Мария, держась рукой за сердце.

Вспомнил Саня, что дед его не тронул, что в этот день бабушка ругала деда за то, что не спешил остеклить окна. Дед принёс из сеника корытца с плетёными соломенными плотиками, готовился налить в них остывающий сахарный сироп, поставить их в ульи — для подкормки пчёл. Выставил дед рамы и основательно застеклил каждую на столе, размятой замазкой укрепил стекла, стамеской сделал ровненькие полоски. Вставил рамы в оконные проёмы и, засмеявшись, доложил бабушке: «Кричала? Дом хорошо проветрился. Весна пришла!»

## 3

Каллистрат Истратов удивлял селян своей хозяйственностью. Его дом сгорел в войну. Найдя семью в банке, он дал слово построить видный собой, большой, хороший дом. Его строил годами, припасая средства и строительные материалы. Из толстых, добротных бревен был построен и сарай, где у него все было устроено на манер, увиденный где-то в Германии. Дверца над окошком коровьей кормушки подвешивалась на цепочке. Сено в кормушку сбрасывалось сверху, где хранилось оно на чердаке, под крышей. Черенок лопаты или вил имел обязательную поперечную ручку. Топорище было изогнутое, изящное, так, что строго серединой лезвия топор касался, скажем, пола, а топорище — строго его концом.

И гряды Каллистрат делал на какой-то заграничный манер, прихлопывая их бока дощатым легким устройством, укрепляя тем самым их, придавая им аккуратнейший вид. На удивление деревенским, рассада капусты высаживалась под шнур, помеченный цветными ленточками, так, что кочаны оказывались строго на одинаково удалённом месте, как солдаты в показательном строю. В засушливое лето за капустными посадками, на ручеечке устраивалась плотина, где вода регулировалась заслон-

кой. Образуемый водоемчик имел дно, уложенное красным и белым кирпичом, полевые камнями-голышами.

## 4

Работал дед в потребкооперации. Раздумчиво двигал костяшками счетов, разглядывал сквозь увеличительные стекла очков цифры отчётов, квитанций, ведомостей. Был обходителен с продавцами, кассирами, заготовителями, но если находил неточность или выявлял недостачу, его лицо делалось бледно-розовым, и он путал обычные слова с нехорошими. В такие минуты на деда удивлялись и побаивались.

Был Истратов человеком неподкупным. Это начальство радовало и раздражало. Каллистрат же оставался самим собой. В каких бы деревнях, ближних или дальних, ни делал ревизию, а в ночь-полночь возвращался домой. Однажды Саню разбудили энергичные бабушкины похлестывания веником дедова полушубка, всего засыпанного и залепленного снегом. «Перед Стомятью волки начали наступать... Только и спасла береста», — проговорил дед, с ещё белыми-белыми заиндевелыми ресницами и усами в ледяшках, показывая бабушке на ладони чёрные-чёрные, скрюченные берёзовые завитушки-недогорелки.

Мария была недовольна дедом. Говорила: «Идёт, на ходу засыпает. Не видит, что сопли развесил. И дома костяшками стучит, бухгалтерию разводит до утра. Фронтвик! Ему бы портфель... Начальство с портфелями. В портфель всегда положат...»

«Ах, милашка моя! — обнимал Каллистрат жену. — С портфелями спокойно не спят. А я сплю, как солдат. Могу вскочить только по команде «Подъём!».

Что правда, то правда, Санин дед любил поработать и поспать. У него правило: после обеда хоть полчасика подремать.

И насчёт соплей Мария была несправедлива. Каллистрат Истратов был подтянут, опрятен, сосредоточен. В кармане суконных, сшитых деревенским портным галифе имел чистую тряпицу. И утирался не спеша. С достоинством.

5

Как-то раз Саня услышал бабушкин разговор с дедом и запомнил его на всю жизнь...

В жаркий июльский полдень 1937 года в село прибыл «воронок». Проехал по улицам. Двое настороженных, глазастых зашли в дедов дом.

— Где хозяин?

— Хозяин на сенокосе, далеко за болотами. Болота у нас дикие, за ними и сенокос. Там у него на ели устроены полати. Косит, сушит сено. И ночует там, — ответствовала Мария перед строгим начальством, поскорее наливая в кружки квас-медовичок, пронзительно студеный, сладковатый, захватывающий дух. И поверх кружек смотрели черные глаза; ясно было, что играть в кошки-мышки с этими людьми бесполезно и небезопасно.

Оглушив разгорячённое нутро квасом, они уходили, не сказав «спасибо», немало удивляя простодушную селянку. Последний, отстав, оглянулся:

— Косит? Пусть косит. В такую жару в селе...

Узковой тропинкой, минуя пожжённые солнцем малинники, клюквенники, голубичники, брусничники, побежала Мария на болото. Томились на солнце берёзки, осинки; густо на них желтела, огнивилась листва; её опадь красила слабо различимую среди болота тропинку. Высоко разросшаяся осока выдавала родничок. От него-то и начинались с первого взгляда недоступные луга. Вроде как давало им силу стлавшееся от него блестящее, округлое, живительное одеяльце...

Никогда не видели Каллистрата Истратова навеселе или пляшущим на празднике или игрище, потому что он был непьющим, трезвым человеком. А тут Мария остановилась, от удивления протёрла глаза: Каллистрат, играя на дудочке-берестянке, плясал, как изрядно захмелевший мужик.

— Ты что, голубички-дурнички объелся?! — ахнула Мария.

— Горсточку съел. Веришь не веришь, в стельку пьяный. Какая-то сила потянула домой, захотелось бежать в село. Но забылся. Расплясался. Легче на душе стало. Усталость охватила. Перед глазами один соснячок, тро-

пинку не могу увидеть, — рассказывал, приходя в себя, Каллистрат.

— Иди к родничку. Попей воды. Умой лицо, — стараясь говорить успокоительней, наставила мужа Мария. Убирая из спутанной копны его волос застрявший там остренький листок, чуть не расплакалась. Очень походил тот листок на седую отметину в чистых, дегтярных волосах людей, в жизни неунывающих, добросердечных, никаким проступком не опозоривших свое имя, но в то смутное время исчезающих из села...

Каллистрат вернулся от родничка посвежевший. С фляжкой, наполненной водой, сел на пенёк.

Прислонившись к нему, Мария выдохнула:

— Каллистрат! На селе крутит тихий вихрь. Приезжали двое, по стати военные. По твою душу приезжали. Не ходи в село, коси. Ночуй здесь. «Пусть косит», — шепнул один в сенцах...

— Заречный завмаг стуканул... Большая недостача у него. Случайно выявил. Разгневался он, угрожал. Обещал не простить, если о ней объявлю, — догадался Каллистрат. Отпив из фляжки, поставил ее под ракиту, в травяной тенёк.

В тот год увезли пятерых мужиков. И пропали они навеки. Каллистрата «тихий вихрь» миновал. В первые дни 41-го Истратов ушёл добровольцем на фронт. За все годы войны его не коснулась ни одна пуля.

6

Ранило Истратова в конце последней военной зимы. Сапёры, разминировав болотце, вешками отмечали проходы для разведчиков. Ослепительные брызги ракет окропили окрестность. Немцы открыли огонь. И уже на излёте в поясницу сыпануло горстку осколочков...

Окоченевшего, окровавленного Каллистрата вытащили из-под огня, привезли в медсанбат. Сделали операцию. Отправили в госпиталь.

Оклемавшись, пойдя на поправку, Истратов изготовил станочек, напоминающий «козлы» для распиловки дров; насжимал на нём кругленьких, с тугими комлями метёлок, в которых каждый прутик был на своём месте; прис-

мотревшись к горе навезенных на топливо полутораметровок, выбрал толстые осиновые кряжики, наколол плах, вытесал из них ловкие лопаты, просушил за печью. И то ли удивляясь плотничьему искусству «усатого сапёрца», то ли понимая, что стыдно отставать от него, выздоравливающие взялись убирать сложенные в штабелки у лип и берёз снега; совместно двор был приведен в неожиданно прехорошее состояние. «Сапёрец» же выказал природную непоседливость. Выхватив из кипящей воды банного котла подтёсанные, напаренные заготовки, выгнул полозцы, изладил саночки; выпросив на складе фанерный ящик из-под папирос, взялся утрами выскабливать ступеньки крыльца, подметать на территории и отвозить собранный снег в глубину парка.

Наблюдавший за Истратовым из окна военврач пригласил его в кабинет. «Каллистрат,— сказал он,— если похлопочу, тебя оставят в госпитале. Такой аккуратный, хозяйственный человек нам нужен, война на исходе. Стоит ли тебе возвращаться в пекло?» На что Каллистрат ответил: «Спасибо, товарищ подполковник, за похвалу. Мне пора отбывать в свой сапёрный батальон. Надо быть на своём месте...»

И всё же Мария считала мужа неудачником. «Воевал, до Берлина дошёл, а без портфеля», — жаловалась она то одному, то другому уполномоченному, ночевавшему в чистом, просторнейшем доме Истратова. И уполномоченный, выпив одну выставленную Каллистратом скупую чекушку водки, оглядев радужные, с золотистыми лучиками дольки окорока, квашеную, как будто только что нашинкованную капусту с огненными клюквами, с красненькими малёчками моркови, огурчики, крепенькие грибы, сало, домашнюю, приятно духовитую колбасу, шурился, улыбался, серьёзничал. Уходил в свои недоступные мысли и называл Каллистрата самым счастливым на земле человеком. С таким утверждением Каллистрат соглашался, однако делался вроде как сонным-сонным, ничего не оспаривающим. А уполномоченный, будь он седым-седым или с головой, на которой жизнь наскользила лысину, только молчал, даже когда Мария, по-деревенскому Каллистратиха, выговаривала:

«Хороша власть. Но плохи подовластники. Пропьёте её, прогуляете. Как пить дать, потеяете». Один уполномоченный, молодой, краснощёкий, с вьющимися, ступенчато уложенными волосами, выпалил: «Тебе, бабка, с такой идеологией давно пора быть в отдалённых местах». Каллистратиха просияла, поняв, что до печёнок проняла «перспективного кадра». Ударив об пол ухватом, сказала: «Молчи, кудрявый! Не то покладу в огонь еловое полено, будешь есть блин с угольками». И к уполномоченному, осторожному гуляке, прилипло прозвище Кудрявый.

«Угольки» не прошли даром. Вроде как незаметно ревностный ревизорщик оказался в кладовщиках. «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день! Вот тебе и портфель!» — только и заметил Каллистрат жене. Впрочем, понижение не огорчало. Откармливать в год двух-трёх кабанчиков, содержать корову-ведёрницу — непростое, не ветеранское это дело. Очень хотелось Истратову, чтобы его внук укрепился в жизни высшим образованием. Потому спешил он по весне в лес, чтобы золой удобрить две сенокосные просеки; не торопился обменивать корову на другую — маленькую, малоудойную.

Крепился, изработывался Истратов. Оставшиеся в пояснице самые малые, не подавшиеся хирургу осколочки двинулись. Выковыривая их иглой в бане, Мария всё же укоряла: «Маешься? А был бы с портфелем — сидел бы в натопленном кабинете. Не носило бы тебя по ревизиям, не наживал бы врагов, не возвращался бы волчьими дорогами».

«Молчи! Ты острее всяких осколков!» — отмахивался Каллистрат, морщась от боли.

7

**М**ного лет спустя Саня был вызван телеграммой в родное село. Шла его первая учительская весна. Отслужив в армии, окончив пединститут, тем самым порадовав деда, он считался хорошим учителем.

Совсем растеплился май. Всю дорогу со станции сопровождал шум юной листвы. Кланялись на опушках отцветшие крепенькие

подснежники. Ослепительные облака в чистейшем небе были похожи на девушек в белых платях — на девушек, которые вброд переходили голубую-голубую реку. В руслах ручьёв, черных от тины, поднималась осока. В каплях росы она напоминала ландыши. Солнце, свершающее свой полукруг, начинало сушить; и ручьи, вдоволь напоившие перелётных птиц и злаки, шевелились в последней агонии.

В доме деда Саня нашёл много горя и много людей. Люди говорили шепотом и держались друг дружки, как пчёлы на летке в душный вечер.

Дед лежал в Саниной комнате. Гладкая ветка молоденькой яблони гляделась с огорода, и, обласканные теплыню, летали домовитые скворцы.

Дед умирал. Обручи сложенных его рук, казалась, старались удержать поднимающуюся грудь. Лицо было белым.

— Дедушка, я приехал! — проговорил Саня.

Дед не ответил. Его взгляд, остановившийся на окне, не сдвигался.

— Саня, комары кусаются? — неожиданно послышался шепот.

— Начинают...

На этом разговор кончился. Пришёл Корнеич — лысый, несмотря на свою полноту, подвижный, шустрый деревенский медик. Открыв сундучок, он наполнил шприц лекарством и выдал первую шутку: «Сейчас пойдём в лес по ягодицы».

Саня вышел из дому. Муравчатая тропинка привела в ольшаник, к колодцу. Отражение высокой ольхи темнело в нём воду; в углу сруба, в тонкосетчатом гамаке, покачивался паук и, как циркач, вертел лапками изумрудную букашку. Букашка противостояла. Карабкалась.

Подошёл Корнеич. В колодце зажужжало. Букашка поднялась. Полетела. Неожиданно упала к ногам, складывая свои футлярные крылышки.

— Сегодня-завтра, — вздохнул Корнеич, и Саня удивился полированности его сундучка — полированности, сверкающей, как жизнерадостное солнце весны. От медика, добрейшего человека, в сырую пору года непременно проверяющего сухость стелек в сапожках ребятшек, веяло бабушкиной черничной настоечкой-кустаркой и ароматцем копчёного са-

ла. «Медицина пока бессильна. Где та волшебная капелька росы, которая побуждает к росту травинку? Вракует человека?» — изрёк он, не желающий уходить с места, откуда был прекрасным вид на реку Стомять, ещё пребывающую в сухой весенней мусорности, однако с золотыми-золотыми, тугими, распахнувшимися перед солнцем кувшинками.

— Корнеич, что сказал предколхоза насчет выделения на похороны транспорта? — напомнил Саня свою просьбу.

— Кудрявый сказал, что на посевной запарка, он может выделить только лошадь и телегу...

8

— Машенька, ты ещё проворная. Сбегай — на родничок, — попросил Каллистрат ближе к вечеру.

Мария ушла с кувшином на болото. Долго не могла сориентироваться в казавшемся ей чужом лесу. Заматеревшие деревья закрывали окрестность. Отчаявшись, Мария присела в низине. И вдруг в тесном осочьем полукруге увидела блестящий, чистый, вроде как огромный человеческий глаз. От неожиданности оробела: «Родничок!» Страшновато ей было опускать кувшин в зеркальную всколыхнувшуюся воду, но руки сами тянулись к ней. Кувшин мигом наполнился водой — и на ещё неугасшем закатном свете она была чистой-чистой, холодной-холодной.

Дома Мария напоила Каллистрата водой, увлажнила, умыла губы, виски, грудь, шею. И Каллистрат улыбнулся. Прошла ночь, в доме прибавилось людей и осторожного шума. Выставили вторые рамы — и свет залил комнаты. Каллистрат сказал неожиданные слова:

— Народу много, пора сажать картофель. Организуй толоку.

Люди задвигались. Белой проволокой ростков глянул из-под пола картофель. Через час голосами налетевших скворцов зазвучала первая борозда.

Когда была вспахана добрая половина огорода, Саня оглянулся... Дрожь, похожая на удар тока, коснулась его: у открытого окна стоял дед. И смотрел на огород.

– У ручья не пашите, – сказал Калистрат.

Все оглянулись и засмеялись.

– Не смейтесь! Может, посмотрел человек в окно, пожил минуту, – сказала Катя, прозванная в селе за кроткий нрав Голубкой. С ней согласились, когда посмотрели в окно, деда там не было. Побежали в дом.

Дед лежал на кровати, ему стало легче. Узнав об этом, люди дружной взялись за работу. Только Катя, оставив на борозде ведро, побежала в сельмаг сообщить, что Истратову полегчало.

Пришёл Корнеич. Осмотрел деда. Задумался...

А Мария и после толоки пошла в лес... Целое лето она ходила к родничку, вспугивая краснобровых тяжеловатых тетеревов, на вид кремнисто-глиняных лисиц. И водой родниковой, женской лаской, душевным внушением, молитвами, молитвами продляла мужу жизнь.

9

Умер Калистрат в сентябре, когда в доме крепко пахло картофельной пылью и подвыпившие женщины удалялись с толоки с песней. Песня была про Ваньку-ключника, разлучника, однако исполняемая весело. С пританцовками. Из-за леса наставилась тёмная туча. На самом её краю, в заревом небесном бездонье, ходили кругами стрижи. Стрижи кричали. От этого было особенно больно.



## ЗНАКОМЫЙ БЕРЕЗНЯК

рассказ

У покойного директора местного племсовхоза был завхоз Ахмед. Души в нем не чаял Багрянцев. Бывало, Данилович подопрет щеку рукой, морщась от боли, – Ахмед тут как тут с коньячком, с готовностью лечить заболевший директорский зуб. Совсем разомлеет директор от поездки по летним производственным участкам или от какого-то затянувшегося совещания, валится, как говорится, с ног, Ахмедка тут же в кабинете, на диване так наломает кости, суставы, мышцы, преподает такой массаж, что Данилович идет домой, напевая любимую песню «Очаровательные глазки», улыбается, жизнерадостный, помолодевший.

Не одно дельце провернул Багрянцев с завхозом. Не один автофургон с сельхозпродуктами или с пиломате-

риалами сплавил в высокогорные края. Так нравился Ахмед Багрянцеву, что порой он забывал его имя и называл по-приятельски «кунак».

Жарковатый день затянулся. Багрянцев только что приехал с сенокоса. От души размялся, подавая сено на высокий стог. Собирался закрыть кабинет, по привычке отдохнуть на диване. Но приехали из областного центра друзья. Зашли. Поздоровались. Надолго расселись.

Багрянцев кликнул Ахмеда. Сверкая озорными глазами, в кабинет заглянул Ахмед. Оценив обстановку, понял Багрянцева с полуслова:

— Через часок жду вас!

Говорили о животноводческом комплексе, о дефицитном оборудовании. О здоровье жен и детей. Через час поехали в березняк, укромное, с нажженным пятном от прежних костров, с металлическими рожками для шампуров, с удобными низенькими скамеечками — приятнейшее место. По-приятельски обдувал ветерок. Заголялась на белокожих березках молоденькая листва. Трещали, перелетали редкие в этой местности черные дрозды.

От снизившегося, совсем недавно высокого костра, в котором дрова превратились в красный монолитный жар, несло волнующим ароматом поспевающего мяса. Ахмедка все колдовал над шашлыками — умелый, раздражающийся знаток кавказской кухни. Снял шашлыки с пылу с жару, Ахмед разложил их на аккуратненьких струганых палочных колосничках. Выбрал из больших дорожных сумок и разместил на вышитых, выгоревших от частого употребления, сплоченных скатертях пунцовенькие помидоры, зеленые, белоносые огурчики, колбасу, окорочка, банки с красным перцем, с томатным соусом, золотокожие лимоны и всякую другую снедь. Протер полотенцем пузатенькие бокальчики, бутылки с золотым лучевым коньяком и, притоптав посередке на ставшем торжественным, видным собой пространстве, угнездил их на нем.

Большим кривым ножом Ахмед разделал лимоны на тоненькие тающие дольки, распластал румяные, сверху запеченные пшенич-

ные караваи и проделал еще несколько манипуляций над продуктами... И даже как-то незаметно успел сбежать под горку, к речушке, и принести в ведерке воды, переменить ее в деревянном ушатике, в котором Данилович любил видеть бутылки не с зарубежным пивом, а со своим, простецким, российским, с этикетками-люлечками.

Сейчас же, глядя на праздничный стол на природе, Багрянцев почему-то не испытывал привычной в таких случаях гордости, всегда на удивление возвышающей, одухотворяющей душу. Он почувствовал, как его сердце вроде оказалось в острых зубах молодого, еще неопытного лисенка, а потому они словно ранили кусок энергичной, неутомимой, знающей свою работу плоти в груди. Это покусывание не повторилось в сердце, а перешло под лопатку и задержалось там — какое-то стреляющее, неотступное. И когда притаенно, звончато отозвался его бокал на прикосновение с другими — дружескими, как бы неохотно отдаляющимися, и он выпил золотисто-лазоревою огненную жидкость, то не почувствовал ее прелести, а нестерпимо запахло в самой душе клопами — теми далекими-далекими, которых он, забавляясь, нещадно жег спичками в зимние вечера на деревенской печи в трещинах трубы, а мать-колхозница варила в чугушке на загнетке картошку в мундире. Приставляя к глазам платочек, потихоньку голосила, вспоминая погибшего где-то под Орлом мужа. «Федька, вырастешь, будь человеком! Не обижай людей, как наш председатель. Не бегай спозаранку по домам, не заливай водой с варевом чугушки», — причитала маманька.

Давясь картошкой, недоваренной, с твердостью в середине, думал Федька затаенно: «Вырасту, буду председателем. У него картошка с салом», — ласково плескалась у него в голове одна мысль, как парная тепленькая волна, набегающая на вечерний одинокий бережок.

Гости оживлялись. Пили коньяк; обрызгиваясь свеженьким соком, прокусывали помидоры. Шутили. Рассказывали анекдоты.

Данилович улыбался, сиял. Сплоченные скатерти вдруг скоротились, превратились в



одну — и она, как дорогой платок, расцвела райскими цветами, заполыхала, обжигая красотой душу. Такой платок он, Багрянцев, однажды привез из командировки в Молдавию, где первый раз в жизни испробовал, посмаковал настоящего коньяка — пятизвездочного, вроде как разгорающегося там, в глубине сердечной, расплывающегося неизъяснимым ароматом. Под шашлычок и, кажется, вареники. И когда, приехав домой, хотел набросить этот платок на плечи матери, ставшей маленькой и седенькой, то подошла жена Светка в купальнике. Туготелая, она засмеялась, примерила платок перед огромным входным зеркалом. Как Багрянцев сожалел, что платок достался не по адресу! Но так и не сумел проявить воли, так сказать, в домашней устоявшейся обстановке.

Лисенок вроде как собирался улечься на сердце. В глазах потемнело. Данилович отошел под березку, опустился в тени, на траву. Вроде его укачивало в люльке, опрокидывало.

— Ахмед! — протянув слабеющую руку, позвал завхоза.

— Чего тебе, хозяин? — подошел разгоряченный, с блестящими глазками Ахмедка.

— Кунак, сердце... Массаж...

Лицо Ахмеда исказилось гневом.

— Какой я кунак? На твоём родном изъясняюсь свободно, а ты из моего нескольких слов не запомнил. За годы дружбы...

И полетел Данилович без останочки в бездну... Удивлялся: бездна оказалась не черной-черной, а ослепительной, сияюще-ослепительной, как нутро мартеновской печи, увиденной однажды на экскурсии на комбинате. Обдающей нестерпимым смертельным жаром.

□

### *Евгений Николаевич ПОНТЮХОВ*

*родился в 1941 году.*

*Поэт, прозаик, очеркист.*

*Публиковался во многих российских журналах и альманахах,*

*а также коллективных сборниках.*

*Автор ряда книг, среди которых «В самой срединной Руси»,*

*«След на росе», «Рассказы и очерки».*

*Живет в селе Знаменское Орловской области.*

*В журнале «Север» публикуется впервые.*

